

Максим Козлов

# Зеркальный отказ



18+

Максим Козлов  
**Зеркальный отказ**

«Автор»

2026

## **Козлов М.**

Зеркальный отказ / М. Козлов — «Автор», 2026

Андрей Князев — судья по делам несовершеннолетних. Каждый день он видит то, чего не должен видеть никто: детей, которых жгли сигаретами, морили голодом, продавали за дозу. Он не спит. Он пьёт. Его семья рушится. Психиатр говорит: «У вас гиперэмпатия. Есть таблетки, которые убирают чужую боль. Вы станете спокойны как камень». Князев отказывается — он считает, что эмпатия делает его человеком. Но когда четырнадцатилетний мальчик хладнокровно убивает младшую сестру и признаётся: «Я хотел посмотреть, как она будет умирать», — Князев сажает его в колонию. Через год мальчика забивают насмерть сокамерники. «Если бы я проявил эмпатию, он был бы жив», — думает Князев и принимает таблетки. Боль исчезает. Он становится идеальным судьёй — быстрым, точным, беспощадным. Но вместе с болью уходят любовь, радость и способность узнавать себя в зеркале. «Зеркальный отказ» — роман о том, что эмпатия не дар и не проклятие, а выбор, который мы делаем каждый день. И цена этого выбора — человеческая жизнь.

© Козлов М., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Свинец в воде	5
Что сказал мальчик	11
Приговор	17
Пузырёк	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Максим Козлов

## Зеркальный отказ

### Свинец в воде

Утро начиналось с привкуса железа во рту. Андрей Сергеевич Князев просыпался всегда в пять сорок семь, за три минуты до будильника, и первые секунды лежал неподвижно, глядя в потолок, где трещина расходилась от люстры рваной паутиной. Трещина появилась год назад, после того как соседи сверху залили квартиру, и с тех пор он наблюдал её рост с тем же отстранённым интересом, с каким смотрел на всё остальное в своей жизни. В пять пятьдесят будильник взрывался резким звоном, и он гасил его ладонью раньше, чем тот успевал издать второй звук. Жена давно спала в другой комнате. Сначала говорила, что он храпит. Потом перестала придумывать причины.

На кухне он наливал воду из-под крана в стакан, и вода отдавала свинцом. Старые трубы, дом ещё довоенный, менять никто ничего не собирался. Он пил эту воду тринадцать лет и уже не замечал вкуса, но сегодня она показалась особенно тяжёлой, будто каждый глоток прибавлял его к земле. За окном только начинало сереть, дворники ещё не вышли, и двор был пуст, если не считать припаркованных машин, покрытых ноябрьской изморосью. Он курил у приоткрытого окна, стряхивая пепел в банку из-под консервированных персиков, которую жена выбросила бы, если бы всё ещё заходила на кухню по утрам. Но она не заходила. Она вообще старалась не пересекаться с ним до его ухода на работу, и он понимал почему. Он сам не хотел бы видеть себя по утрам.

В шесть двадцать он был уже одет. Рубашка серая, галстук тёмно-синий, пиджак с протёртыми локтями, который он собирался заменить уже два года, но так и не собрался. В зеркале в прихожей он видел человека, которого не узнавал: мешки под глазами, кожа серая как февральский снег, щетина, которую он пропускал уже третье утро подряд. Глаза — самое страшное. Глаза человека, который видел слишком много. Глаза, в которых, как в мутной воде, плавали обрывки чужих жизней. Он провёл ладонью по лицу, ощутив шершавость, и подумал, что когда-то, очень давно, он был другим. Кажется, даже смеялся. Кажется, даже шутил с коллегами за обедом. Теперь коллеги обходили его стороной, и он их понимал.

Дорога до суда занимала сорок минут пешком. Он не пользовался машиной принципиально — в пробках его накрывало удушье, а в метро он начинал рассматривать лица и придумывать каждому историю, и истории эти всегда были плохими. Поэтому он шёл пешком через парк, мимо спящих под лавками бомжей, мимо собачников, чьи псы радостно носились по мокрой траве, мимо школьников с тяжёлыми рюкзаками, которые плелись к остановке. Он смотрел на них и думал: кто из них сегодня вечером вернётся домой в пустую квартиру, кто получит ремнём по спине, кто будет стоять в углу на гречке, кто полезет в окно, чтобы сбежать от пьяного отчима. Он не хотел этого думать. Мысли приходили сами, как мигрень, как тошнота — внезапно и без спроса.

Суд располагался в старом здании на набережной, построенном ещё в те времена, когда архитекторы верили в вечность гранита и важность государственных учреждений. Широкие ступени, массивные колонны, тяжёлые дубовые двери. Внутри пахло пылью и бумагой, и этот запах въедался в одежду, в кожу, в лёгкие. Князев поднимался по лестнице, и каждый шаг отзывался в коленях тупой болью. Сорок восемь лет — не возраст, но тело уже начало сдавать. Или это не тело. Это что-то другое.

В кабинете его ждала стопка дел. Каждый день новая стопка, и каждый день он читал их, и каждый день что-то внутри него умирало маленькой смертью. Сегодня сверху лежало дело

номер семь-три-восемь, и он открыл его, хотя знал, что не нужно открывать до заседания, что нужно сохранять дистанцию, что нельзя пропускать это через себя. Ему говорили это на курсах повышения квалификации. Ему говорил это психиатр, которого он посещал уже полгода и которому врал примерно столько же. Он открыл папку.

Мальчик, четыре года. Имя значения не имеет, но оно было, и Князев прочитал его три раза, прежде чем смог двигаться дальше. Дима. Дмитрий. Маленький, белобрысый, на фотографии улыбается, показывая щербину между передними зубами. Тело обнаружено в ванной. Мать утверждает, что ребёнок захлебнулся во время купания. Экспертиза показала множественные гематомы различной давности, переломы рёбер, ожоги от сигарет на внутренней стороне бёдер. В ванной, помимо тела, найдены окурки. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, уровень — два и семь промилле. Соседи сообщили, что крики из квартиры доносились регулярно в течение последних шести месяцев. Участковый не реагировал. Органы опеки не реагировали. Садик, куда мальчик перестал ходить за три недели до смерти, не реагировал.

Князев закрыл папку. Открыл снова. Посмотрел на фотографию мальчика. Щербина между зубами. Он вспомнил, как у его собственного сына выпали передние зубы — сначала один, потом второй, и мальчик шепелявил и смеялся, а они с женой смеялись в ответ. Тогда они ещё смеялись. Тогда он ещё мог смеяться.

В зал суда он вошёл с опозданием на три минуты, чего с ним раньше не случалось. Секретарь, немолодая женщина с усталым лицом и крашеными в рыжий волосами, посмотрела на него с беспокойством, но ничего не сказала. Он сел в своё кресло, поправил мантию, положил руки на стол. Руки слегка дрожали. Это было новое. Раньше дрожь появлялась только к вечеру, после четвёртого-пятого дела, когда усталость накапливалась и становилась физической, почти осязаемой — будто свинец в крови, будто тот самый привкус из водопроводной воды.

Подсудимая — мать. Женщина тридцати одного года, выглядевшая на пятьдесят. Лицо опухшее, волосы сальные, собранные в неопрятный пучок, глаза пустые и одновременно затравленные. Она сидела на скамье, сгорбившись, и руки её, лежавшие на коленях, были покрыты цыпками — красными, воспалёнными. Князев смотрел на эти руки и видел, как они держат сигарету. Как они тушат эту сигарету о бедро ребёнка. Как они хватают маленькое тельце и швыряют в ванну, наполненную водой. Он видел это так ясно, будто стоял там, в той ванной, и наблюдал. Видел, как вода выплёскивается на кафельный пол. Видел, как мальчик пытается ухватиться за край ванны, как его пальчики скользят по эмали. Слышал, как мать кричит на него пьяным голосом: «Лежи, сука, лежи!» Чувствовал запах перегара, смешанный с запахом дешёвого стирального порошка и мокрой штукатурки.

Прокурор зачитывал обвинение. Адвокат — назначенный государством, молодой парень, которому явно было всё равно — говорил что-то про смягчающие обстоятельства, про тяжёлое детство подсудимой, про то, что она сама росла в детдоме и не знала материнской любви. Князев слушал и чувствовал, как внутри поднимается что-то тёмное и вязкое, что-то, что нельзя было назвать гневом, потому что гнев предполагает энергию, а это была скорее пустота, которая заполняла всё пространство между рёбрами. Он смотрел на женщину и пытался найти в ней хоть что-то человеческое, хоть какую-то зацепку, которая позволила бы ему сказать: да, она тоже жертва, да, её можно понять. Он искал и не находил. Потом ловил себя на мысли, что ищет в ней то, чего уже нет, и это вызывало ещё большее отвращение — не к ней, а к самому себе, к своей способности всё ещё пытаться оправдать тех, кого оправдывать нельзя.

Перерыв объявили в час дня. Князев вышел из зала, спустился на первый этаж, миновал рамку металлоискателя, кивнул охраннику, который его не заметил, и вышел на улицу. Воздух был холодным и влажным, с реки тянуло сыростью. Он закурил, привалившись плечом к гранитной стене здания, и смотрел, как по набережной проносятся машины, как чайки кружат над водой, высматривая добычу. Чайки напомнили ему о море, о последнем отпуске, который

был три года назад, когда жена ещё пыталась его спасти — таскала по врачам, по психологам, возила к морю, надеялась, что солнце и покой сделают то, чего не могли сделать врачи. Ничего не сделали. Море было тёплым, еда вкусной, номер в отеле чистым и светлым, а он лежал ночами без сна и видел лица. Лица детей, которых он осудил. Лица детей, ради которых он выносил приговоры их мучителям. Лица, которые сливались в одну сплошную серую массу, как небо над Невой в ноябре.

Вечером того же дня он сидел у психиатра. Кабинет на Литейном, четвёртый этаж, окна во двор-колодец, где никогда не бывает солнца. Психиатр — мужчина лет шестидесяти, лысый, с очками в тонкой золотой оправе и манерами человека, который давно перестал удивляться чему бы то ни было. Фамилия его была Гольдберг, но Князев никогда не называл его по фамилии, только по имени-отчеству — Яков Моисеевич. Тот сидел в своём кресле, закинув ногу на ногу, и слушал, как Князев рассказывает про мальчика из утреннего дела.

— Я не могу перестать это видеть, — говорил Князев, глядя в стену позади психиатра. — Я закрываю глаза и вижу эту ванну. Вижу, как он захлёбывается. Вижу эти ожоги. Я никогда его не знал, я даже фотографию увидел сегодня впервые, но я чувствую это так, будто это случилось со мной. Будто это мои рёбра сломаны. Будто это моя кожа горит.

— Гиперэмпатия, — сказал Гольдберг спокойно, будто называл диагноз простуды. — Вы слишком остро чувствуете чужую боль. Это не добродетель, Андрей Сергеевич. Это расстройство.

— Расстройство? — Князев перевёл взгляд на психиатра. — Способность чувствовать чужую боль — это расстройство?

— Когда она мешает вам жить — да. Когда она разрушает вашу семью, ваше здоровье, вашу способность работать — определённо да. Вы пьёте?

Князев помолчал.

— Иногда.

— Каждый день?

— Почти.

— Сколько?

— Бутылку. Иногда полторы.

Гольдберг снял очки, протёр их платком, водрузил обратно на нос. Движения его были медленными, размеренными, как у человека, который никуда не спешит.

— Есть препараты, — сказал он. — Новое поколение антипсихотиков. Они снижают уровень эмпатии. Не полностью, но значительно. Вы сможете работать спокойно. Вы перестанете просыпаться по ночам. Вы перестанете видеть то, чего не видели.

Князев покачал головой.

— Нет.

— Почему?

— Потому что это сделает меня нечеловеком.

Гольдберг вздохнул — тихо, почти неслышно, но в этом вздохе было больше красноречия, чем в любых словах.

— А вы думаете, то, что с вами происходит сейчас — это человечно? Вы думаете, человек создан для того, чтобы нести на себе боль всех, кого он встречает? Человек создан, чтобы выживать, Андрей Сергеевич. И иногда для выживания нужно отключить то, что мешает.

Князев ничего не ответил. Он встал, взял пальто, кивнул на прощание и вышел в коридор, где пахло лекарствами и старостью. Спускаясь по лестнице, он думал о том, что Гольдберг, возможно, прав. И от этой мысли ему становилось ещё хуже.

Дома его ждала пустота. Жена уехала к матери ещё в понедельник, забрала детей, и теперь в квартире стояла такая тишина, что звон в ушах казался почти оглушительным. Он прошёл на кухню, открыл холодильник, достал початую бутылку водки, налил полстакана. Выпил залпом,

не закусывая. Потом ещё. Водка обожгла горло и провалилась в желудок тёплым комком, но облегчения не принесла — только оцепенение, только мутную пелену перед глазами.

Он сел за стол и достал из портфеля недопитое дело. Раскрыл на середине. Акт вскрытия. Он читал его медленно, строчка за строчкой, и каждая строчка впечатывалась в память как строка приговора. Перелом четвёртого и пятого ребра слева. Кровоподтёк в области поясницы размером восемь на двенадцать сантиметров. Ожоги третьей степени на внутренней поверхности бёдер, предположительно от сигарет. Причина смерти — асфиксия в результате закрытия дыхательных путей жидкостью. В лёгких обнаружена вода, содержащая следы хлора и моющих средств.

Он представил эту воду. Мутную, мыльную, с хлоркой — мать, наверное, пыталась замести следы, отмывала ванну, когда ребёнок уже не дышал. Или не отмывала. Может, ей было всё равно. Может, она просто сидела на кухне и пила дальше, пока тело её сына остывало в остывающей воде.

Князев закрыл папку и уронил голову на руки. Ему хотелось плакать, но слёз не было — они кончились давно, может быть, ещё в первый год работы, когда он впервые увидел девочку, которую родной отец держал в подвале и использовал как пепельницу. Тогда он плакал каждую ночь в течение месяца. Теперь он просто сидел в пустой квартире, пил водку и чувствовал, как что-то внутри него медленно, но неотвратимо превращается в лёд.

На следующий день было ещё одно дело. Мальчик девяти лет, изъятый из семьи органами опеки после того, как соседи вызвали полицию, услышав крики. Мать и отчим систематически избивали ребёнка, морили голодом, заставляли спать на полу в прихожей. В школе мальчик появлялся в синяках, но учителя не сообщали — говорили, что не хотели вмешиваться в дела семьи. Директор школы на суде выглядел искренне расстроенным, но Князев видел в его глазах только одно: страх ответственности. Страх, что его обвинят в бездействии. И правильно обвинят.

Мальчика он видел на видео, записанном психологом центра временного содержания. Щуплый, стриженный наголо (педикулёз, сказали врачи), с огромными глазами, которые смотрели куда-то мимо камеры, в пустоту. На вопросы психолога отвечал односложно, голосом тихим и бесцветным. «Ты хочешь вернуться к маме?» — «Нет». — «Почему?» — «Она меня бьёт». — «А отчим?» — «Тоже». — «Ты боишься их?» — «Нет. Я просто не хочу туда».

Князев смотрел это видео и думал: ребёнок не говорит «я боюсь», потому что страх — это слишком живое чувство. Страх — это когда ещё есть что терять. А у этого мальчика не осталось ничего, даже страха. Только пустота, только бесконечная усталость от жизни, которая не должна быть такой, но стала.

Лишение родительских прав. Передача в детский дом. Очередное дело, очередная сломанная жизнь, очередная зарубка на том, что осталось от его души. Он выносил приговор и видел, как мать — молодая ещё женщина, лет двадцати восьми, с крашеными в блондинку волосами и дешёвым маникюром — смотрит на него с ненавистью. «Ты разрушил мою семью!» — крикнула она, когда судебные приставы уводили её из зала. Он ничего не ответил. Он знал, что она разрушила всё сама, задолго до того, как он надел мантию. Но где-то внутри, в той части его сознания, которая никогда не умолкала, звучал вопрос: а что, если она тоже жертва? Что, если её саму били в детстве, и она просто не знает, как иначе? Что, если зло — это не выбор, а эстафетная палочка, передаваемая от поколения к поколению, и никто не виноват, потому что все виноваты?

Он гнал эти мысли. Он не имел права на них. Он был судьёй, а не философом. Его работа — применять закон, а не разбираться в природе зла. Но мысли возвращались, как вода в протекающей лодке, и он вычерпывал их снова и снова, зная, что рано или поздно устанет и пойдёт ко дну.

В пятницу вечером он снова сидел у Гольдберга. На этот раз он был пьян — не сильно, но достаточно, чтобы язык заплетался, а мысли путались. Гольдберг смотрел на него без осуждения, даже с некоторым профессиональным интересом, как смотрят на редкий клинический случай.

— Вы пили перед приёмом, — констатировал он.

— Да.

— Зачем?

— Чтобы прийти сюда. Трезвым я бы не смог.

— Почему?

Князев долго молчал, разглядывая свои руки. Руки судьи, который ни разу в жизни не ударил человека, но который, возможно, отправил на смерть больше людей, чем иной убийца. Не напрямую — законом, приговором, решением. Но разве от этого легче?

— Я хочу спросить вас кое-что, — сказал он наконец. — Эти таблетки, о которых вы говорили. Они правда работают?

— Да.

— Насколько?

— Вы перестанете чувствовать чужую боль. Вообще. Вы будете видеть факты, только факты, и принимать решения на основе этих фактов. Без эмоций. Без колебаний. Без бессонницы. Без вот этого, — он обвёл рукой кабинет, но Князев понял, что он имел в виду не кабинет, а всё это: пьянство, пустую квартиру, дрожащие руки, ночные кошмары.

— А что я буду чувствовать вместо этого?

— Ничего. В этом и смысл.

Князев усмехнулся криво, неловко.

— То есть я стану машиной.

— Вы станете эффективным работником. Вы станете человеком, который может выносить приговоры и спать по ночам. Вы станете тем, кого ваша жена, возможно, сможет выносить рядом с собой. Разве это плохо?

— Это плохо, потому что это неправда, — сказал Князев. — Если я перестану чувствовать, я перестану быть собой. А если я перестану быть собой — какой смысл во всём остальном?

Гольдберг снял очки и потёр переносицу. Когда он заговорил снова, голос его звучал иначе — менее профессионально, более человечно.

— Андрей Сергеевич, я работаю психиатром тридцать четыре года. Я видел всякое. Я видел людей, которые разрушили себя из-за того, что слишком сильно любили, слишком сильно сопереживали, слишком глубоко чувствовали. И знаете что? Ни одному из них это не помогло. Ни одному. Их любовь не спасла тех, о ком они переживали. Их эмпатия не сделала мир лучше. Она сделала хуже только им самим. Вы хотите быть святым? Хорошо. Но святые обычно плохо заканчивают. Их сжигают, распинают, травят собаками. А я предлагаю вам просто жить. Просто работать. Просто не сходить с ума от того, что мир устроен неправильно. Потому что мир всегда был устроен неправильно, и ваша боль этого не изменит.

Князев слушал и чувствовал, как что-то в нём сопротивляется этим словам, но что-то другое — усталое, измотанное, отчаявшееся — тихо соглашается. Он встал, попрощался и вышел на улицу, где уже стемнело и зажглись фонари.

Домой он шёл пешком, через мост, и на середине моста остановился. Внизу текла вода — чёрная, маслянистая, подсвеченная огнями набережной. Он смотрел в неё и думал о том, как легко было бы перешагнуть через перила и упасть туда, в эту черноту. Упасть и перестать чувствовать. Перестать видеть лица. Перестать слышать крики. Но он знал, что не сделает этого. Не потому, что боялся. А потому что где-то внутри ещё теплилась надежда — глупая, ирраци-

ональная надежда, что однажды он проснётся и всё изменится. Что мир станет справедливее. Что дети перестанут умирать. Что матери перестанут тушить сигареты о бедра своих сыновей.

Он стоял и смотрел в воду, пока холод не пробрал до костей. Потом повернулся и пошёл домой, в пустую квартиру, где его ждала бутылка водки и папка с новым делом, которую он взял с собой на выходные.

Дело номер девять-один-два. Мальчик четырнадцати лет. Убил младшую сестру. Родители просят не сажать. «Он же ребёнок, он не понимал».

Князев открыл папку и начал читать. Через десять минут он отложил её и налил себе ещё. Руки дрожали сильнее обычного.

Мальчик понимал.

## Что сказал мальчик

Дело номер девять-один-два лежало на столе всю субботу. Князев не притрагивался к нему до вечера воскресенья. Он знал эту свою привычку — откладывать самое страшное, давать себе отсрочку, будто время могло что-то изменить, будто за два дня слова в протоколах станут другими, будто мёртвая девочка оживёт, если он достаточно долго не будет о ней читать. Глупость. Он знал, что это глупость, и всё равно откладывал.

В субботу он пил. В воскресенье тоже пил, но меньше. К вечеру воскресенья водка кончилась, идти в магазин было лень, и он сидел на кухне трезвый, что было хуже всего. Трезвость приносила с собой ясность, а ясность — мысли, от которых он бежал последние годы. Мысли о том, кем он стал и кем он был. О жене, которая больше не смотрела ему в глаза. О детях, которые перестали звонить. О себе — о том мальчике из Ленинграда, который хотел стать адвокатом и защищать невиновных, а стал судьёй, который отправляет людей в тюрьму, и не всегда невиновных, и не всегда виновных — кто теперь разберёт.

За окном темнело рано. Ноябрь в Петербурге — это не столько месяц, сколько состояние души. Серое небо, серые дома, серые лица прохожих. Температура около нуля — не холодно и не тепло, а так, промозгло, сыро, будто весь город поместили в предбанник и забыли открыть дверь. Князев заварил чай — пакетик «Липтона», который нашёлся в шкафу за банкой с гречкой, — и сел за стол. Папка лежала перед ним, закрытая, и на обложке химическим карандашом было выведено: «Стрельцов А.В., 14 лет, ст. 105 ч. 2 УК РФ». Он смотрел на эту надпись и думал о том, что четырнадцать лет — это возраст его старшего сына. Что его старший сын сейчас, наверное, сидит за уроками у бабушки. Что его старший сын жив, здоров, и самое страшное преступление, которое он совершил за свою жизнь — это разбитая в прошлом году ваза, которую Князев даже не заметил, потому что был слишком занят чужими детьми, чтобы обращать внимание на своего.

Он открыл папку.

Первым лежал протокол осмотра места происшествия. Квартира на проспекте Ветеранов, девятиэтажка, четвёртый этаж. Три комнаты, кухня, отдельный санузел. В ванной на полу — тело девочки, возраст — шесть лет. Положение на спине, руки раскинуты, голова повернута влево. На шее — странгуляционная борозда. Рядом с телом — электрический провод от настольной лампы. Эксперты установили: смерть наступила в результате механической асфиксии, удушение заняло от трёх до пяти минут. На теле также обнаружены следы, указывающие на попытку утопления: в лёгких вода, но незначительное количество. Вероятно, девочку сначала пытались утопить в ванне, а когда она вырвалась, задушили проводом.

Князев читал и видел эту ванну так же ясно, как видел ванну из прошлого дела. Видел, как девочка бьётся в воде, как её мокрые волосы прилипают к лицу, как она хватается за край ванны, как ногти ломаются об эмаль. Видел, как старший брат — четырнадцать лет, рост сто шестьдесят четыре сантиметра, телосложение среднее — вытаскивает её из воды и тянет за руку в комнату. Видел провод от лампы. Видел, как он наматывает этот провод на свои кулаки — ещё детские, с обкусанными ногтями и следами от гелевой ручки на указательном пальце.

Следующий документ — протокол допроса обвиняемого. Князев читал его трижды, и каждый раз что-то внутри него переворачивалось и падало в пустоту.

Следователь: «Расскажи, что произошло».

Стрельцов А.В.: «Я убил Катю».

Следователь: «Зачем ты это сделал?»

Стрельцов А.В.: «Я хотел посмотреть, как она будет умирать».

Следователь: «Ты понимал, что она умрёт по-настоящему?»

Стрельцов А.В.: «Да. Я для этого и делал».

Следователь: «Ты раскаиваешься в содеянном?»

Стрельцов А.В.: «Нет».

Вот так. Просто. Сухо. Без эмоций. Без слёз. Без попыток оправдаться или соврать. Четырнадцатилетний мальчик сидел перед следователем и спокойно, глядя в глаза, рассказывал, как убивал свою младшую сестру, потому что ему было интересно, как выглядит смерть. Князев отложил протокол и потёр глаза. Перед ними плыли строчки, буквы расплзались как тараканы. Он потянулся за сигаретой, закурил, закашлялся — дым пошёл не в то горло. За окном зажглись фонари, их жёлтый свет разливался по мокрому асфальту и отражался в лужах, и этот свет казался Князеву отвратительным — неживым, механическим, как свет в операционной.

На следующее утро было собеседование с психологом, которая работала с мальчиком после задержания. Князев вызвал её к себе в кабинет — имел право, как судья, затребовать дополнительные материалы. Она пришла к десяти утра: женщина лет тридцати пяти, строгая, в очках, с волосами, собранными в тугий пучок. Пахло от неё какими-то травами — не духами, а именно травами, аптекой, лекарственным сбором. Она села напротив Князева, положила на колени папку с отчётом и посмотрела на него с тем выражением, с каким обычно смотрят на тяжелобольных, — смесь сочувствия и профессионального интереса.

— Вы хотели поговорить о Стрельцове, — сказала она.

— Да. Расскажите о нём. Не то, что в отчёте. То, что вы видели сами.

Она помолчала, подбирая слова. Князев заметил, что пальцы её слегка подрагивают, и понял: она тоже не спала ночами. Тоже видела то, что не должна была видеть. Тоже несла это в себе, как носят осколок, который нельзя извлечь, потому что он слишком близко к сердцу.

— Он не похож на других, — сказала она наконец. — Я работаю с трудными подростками двенадцать лет. Я видела агрессию, жестокость, садизм. Но всегда за этим что-то стояло. Мечь. Обида. Страх. Попытка самоутвердиться. У Стрельцова — ничего. Вообще ничего. Он убил сестру не потому, что она его раздражала. Не потому, что родители уделяли ей больше внимания. Не из ревности. Он убил её, потому что ему было любопытно. Как будто он разобрал игрушку, чтобы посмотреть, что внутри.

— Он психопат? — спросил Князев прямо.

— Формально — нет. По результатам экспертизы он вменяем. Он осознавал свои действия и руководил ими. У него нет бреда, нет галлюцинаций, нет нарушений мышления. Но с эмоциональной сферой... — она запнулась. — У него отсутствует эмпатия. Полностью. Он не чувствует чужой боли. Вообще. Когда ему показывали фотографии жертв насилия — стандартный тест, — у него не было никакой реакции. Ни учащения пульса, ни расширения зрачков, ничего. Он смотрел на эти фотографии так же, как смотрел бы на пейзаж. Или на натюрморт с фруктами.

Князев вспомнил Гольдберга. Таблетки, которые обещают то же самое. Отсутствие эмпатии. Спокойствие. Равнодушие. Он подумал: если мальчик родился таким, без способности чувствовать чужую боль, — значит, это не болезнь, а вариант нормы? Значит, природа допускает существование людей, которые смотрят на чужую смерть как на фруктовый натюрморт? И если природа это допускает — кто он такой, чтобы судить? Но тут же одёрнул себя: он судья. Его работа — судить. И он будет судить. Даже если сам уже не понимает, где проходит граница между нормой и патологией, между злом и болезнью, между человеком и нечеловеком.

— Что вы рекомендуете? — спросил он.

— С точки зрения психологии — длительная изоляция и попытка коррекции. Но честно? — она посмотрела ему в глаза, и он увидел в её взгляде ту же усталость, что носил в себе. — Я не знаю, можно ли это скорректировать. Я не знаю, можно ли научить человека чувствовать то, что ему не дано от природы. Это как учить слепого различать цвета. Вы можете объяснить теорию, но он никогда не увидит красный.

Она ушла, оставив после себя запах трав и тяжесть в воздухе. Князев сидел один в кабинете, смотрел в окно на серый двор, на голые ветки тополей, на старуху с тележкой, которая медленно брела через арку, и думал о том, что мальчик, которого он будет судить через три дня, — это его отражение в кривом зеркале. Мальчик не чувствует ничего. Князев чувствует слишком много. Мальчик убил из любопытства. Князев разрушает себя из сострадания. И оба они — крайности одной и той же шкалы, оба непригодны для жизни в этом мире, который требует не чувств, а эффективности.

Во вторник он встретился с родителями. Они пришли вдвоём — отец и мать, — и Князев принял их в своём кабинете, хотя обычно такие встречи проходили в присутствии адвоката. Но адвокат опаздывал, а Князев не хотел ждать. Ему нужно было увидеть их. Понять.

Отец — мужчина лет сорока пяти, грузный, с красным лицом и одышкой. Работал водителем маршрутки, руки в ссадинах, под ногтями — несмываемая грязь. Мать — маленькая, сутулая, с волосами неопределённого цвета и глазами, которые всё время бегали, ни на чём не останавливаясь. Она плакала, не переставая, с той минуты, как вошла в кабинет. Плакала тихо, беззвучно почти, только слёзы текли по щекам и капали на воротник дешёвого пальто. Отец не плакал. Он смотрел на Князева с тупой решимостью человека, который привык решать проблемы криком и силой, но здесь не мог ни кричать, ни применять силу, и от этого чувствовал себя совершенно беспомощным.

— Ваша честь, — сказал он, и голос его прозвучал неожиданно тонко для такого грузного тела. — Не сажайте его. Он же ребёнок ещё. Он не понимал, что делал.

— Понимал, — сказал Князев тихо. — Он сам сказал следователю, что понимал.

— Мало ли что он сказал! — мать всплеснула руками, и слёзы брызнули в стороны. — Он запутался, испугался, ему всего четырнадцать, он школу прогуливал, с плохой компанией связался. Это не он, это всё они, эти, как их, из интернета, игры эти дурацкие. Он хороший мальчик, он всегда был хороший. Он Катю любил. Он ей игрушки дарил. Это не он!

Князев слушал и видел перед собой не родителей убийцы, а родителей жертвы. Потому что они потеряли двоих детей — дочь, которую убили, и сына, который убил. И теперь они цеплялись за сына, потому что он — всё, что у них осталось. Они не могли его потерять. Это было бы слишком. Это было бы несправедливо, неправильно, невозможно. И они убеждали себя в том, что их сын не виноват, что это ошибка, что это влияние извне, что угодно, кроме правды. Потому что правда была слишком страшной: их сын убил их дочь просто потому, что хотел посмотреть, как она умирает.

— Вы знали, что ваш сын жесток с сестрой раньше? — спросил Князев.

Мать перестала плакать. На секунду. Всего на секунду, но Князев заметил. Заметил, как мелькнуло в её глазах что-то — не страх, не вина, а узнавание. Она знала. Знала и молчала.

— Он дёргал её за волосы, — сказала она шёпотом. — Я думала, это просто игра. Дети всегда дерутся. У меня самый брат был старший, он мне все куклы поломал. Это нормально. Это дети.

— А синяки? — спросил Князев. — У девочки были синяки на руках. За две недели до смерти. Вы обращались в травмпункт.

Молчание. Отец уставился в пол. Мать снова заплакала, но теперь уже громко, в голос, как плачут на похоронах.

— Мы думали, это в садике, — выдавил отец. — Думали, дети подрались.

— В садике сказали, что девочка говорила о брате. Что он её щипает и бьёт. Воспитательница сообщила вам.

— Воспитательница — дура, — отрезал отец. — Она наших детей не любила. У неё свои любимчики. А Катя была тихая, скромная. Таких всегда обижают.

Князев смотрел на него и думал: вот он, механизм отрицания, который работает безотказно. Если не признавать проблему, её не существует. Если не видеть зла, его нет. Люди могут

жить рядом с чудовищем годами и убеждать себя, что это просто ребёнок с трудным характером. Что он перерастёт. Что это такая фаза. А потом чудовище убивает, и они говорят: мы не знали, мы не думали, мы не предполагали. И это правда — они не знали, потому что не хотели знать. Потому что знать было бы слишком больно.

Он отпустил их. Они ушли — мать всё ещё плакала, отец поддерживал её под локоть, — и в кабинете остался только запах их пота и отчаяния. Князев открыл окно, впустил холодный воздух. Внизу, во дворе суда, журналисты уже ставили камеры. Дело получило огласку — не каждый день четырнадцатилетние убивают шестилетних. Будет шум. Будет пресса. Будут эксперты в телевизоре, которые станут рассуждать о природе подростковой жестокости с умным видом, не понимая ровным счётом ничего.

В среду он снова был у Гольдберга. На этот раз — днём, в обеденный перерыв, потому что вечером не мог: нужно было готовиться к заседанию. Гольдберг принял его без очереди, за что Князев был ему благодарен, хотя и не сказал об этом вслух.

— Я читал об этом деле в новостях, — сказал Гольдберг, когда Князев сел в кресло. — Это ваш мальчик?

— Мой.

— И как вы?

Князев усмехнулся. Усмешка вышла кривая, неживая.

— Я не сплю, Яков Моисеевич. Я не сплю уже которую ночь. Я смотрю на его фотографию и пытаюсь понять. Пытаюсь понять, что должно произойти в голове у четырнадцатилетнего человека, чтобы он взял провод от лампы и накинул его на шею своей сестры. Чтобы он смотрел ей в глаза, пока она задыхается, и ждал, когда она умрёт. Что он чувствовал в этот момент?

— Ничего, — сказал Гольдберг. — В этом-то и дело. Он не чувствовал ничего. Вы ищете мотив, который был бы понятен вам, человеку с гиперэмпатией. А у него не было мотива в вашем понимании. Ему было любопытно. Как вам было бы любопытно посмотреть, как распускается цветок. Или как ползёт улитка. Для него смерть сестры была просто явлением. Интересным, но не более того.

— И что мне с ним делать?

— Судить. По закону. Вы же судья.

— А если закон требует учитывать возраст? Смягчающие обстоятельства? Возможность исправления?

Гольдберг помолчал. Потом снял очки и посмотрел на Князева долгим, внимательным взглядом.

— Вы знаете, что я вам скажу. Вы знаете, но не хотите слышать. Закон — это механизм. Он работает с усреднёнными случаями. А ваш случай — не усреднённый. Ваш случай — крайний. И закон здесь бессилён, потому что закон не рассчитан на людей, которые не чувствуют. Закон предполагает, что человек может раскаяться. А раскаяние предполагает эмпатию. Если эмпатии нет — нет и раскаяния. А если нет раскаяния — что тогда? Держать его в тюрьме до конца жизни? Отпустить через десять лет? Вы сами понимаете: он выйдет и убьёт снова. Не потому, что он злой. А потому что ему снова станет любопытно.

Князев закрыл глаза. Перед внутренним взором встала девочка — Катя, шесть лет, две косички, на фотографии улыбается без переднего зуба. Он видел её живой. Видел, как она бежит по коридору квартиры на проспекте Ветеранов. Видел, как старший брат смотрит ей вслед, и в его глазах — не ненависть, не злоба, а холодный, расчётливый интерес. Интерес натуралиста, который изучает бабочку перед тем, как приколоть её булавкой к картону.

Он открыл глаза.

— Я посажу его. По максимуму. Десять лет воспитательной колонии.

— Вы имеете право.

— А если его там убьют? Он мелкий, щуплый. В колонии такие долго не живут.

— Тогда вы будете нести ответственность за его смерть, — сказал Гольдберг ровно. — По крайней мере, перед собой. И, зная вас, я могу предположить, что эта ответственность вас раздавит. Но вы всё равно это сделаете. Потому что не можете иначе. Потому что вы чувствуете боль той девочки сильнее, чем боль её убийцы. И это — ваш выбор. Ваше проклятие.

Князев встал. Подошёл к окну. За окном был всё тот же двор-колодец, всё те же облупленные стены, всё то же серое небо. Он стоял и смотрел, как голубь чистит перья на карнизе, и думал о том, что Гольдберг прав. Он всё равно это сделает. Потому что не может иначе. Потому что справедливость — это не абстракция. Справедливость — это мёртвая девочка, которая не получила шанса вырасти. И пока он помнит её лицо, он будет делать то, что должен.

Вечером он позвонил жене. Впервые за две недели. Она взяла трубку после пятого гудка, и голос у неё был усталый, отстранённый, как у человека, который уже всё решил.

— Привет, — сказал он.

— Привет.

— Как дети?

— Нормально. Уроки делают.

— Я хотел поговорить.

— О чём?

Он помолчал, подбирая слова. Слова не подбирались. Все слова, которые он знал, были из другого языка — из языка протоколов, приговоров, судебных постановлений. На этом языке нельзя было сказать «прости». На этом языке нельзя было сказать «я люблю тебя». На этом языке можно было только констатировать факты. Факт первый: его брак умер. Факт второй: он сам его убил. Факт третий: он не знает, как жить дальше.

— О нас, — сказал он наконец.

— Нас больше нет, Андрей. Ты сам это знаешь.

— Знаю.

— Тогда зачем ты звонишь?

Он не ответил. Она вздохнула — он услышал этот вздох, тяжёлый, как камень, падающий в воду.

— Ты пил сегодня?

— Нет.

— Правда?

— Правда. Я готовлюсь к процессу. Завтра слушание.

— Я читала про это дело. Про мальчика и его сестру.

— Да.

— Как ты это выдерживаешь?

— Я не выдерживаю, — сказал он честно. — Я давно уже не выдерживаю. Но я держусь.

Она помолчала. Он слышал её дыхание в трубке — неровное, сбивчивое, будто она тоже плакала. Или собиралась заплакать. Или уже выплакала всё и теперь просто дышала, потому что больше ничего не осталось.

— Береги себя, — сказала она. — Хотя бы ради детей.

— Постараюсь.

Она повесила трубку. Он ещё долго сидел, прижимая телефон к уху и слушая короткие гудки. Потом отложил телефон, встал, подошёл к зеркалу в прихожей и долго смотрел на своё отражение. Отражение смотрело на него в ответ — серое лицо, красные глаза, щетина, которую он опять не сбрил. Он попытался вспомнить, когда в последний раз брился каждый день. Не вспомнил.

Заседание назначили на четверг, на десять утра. Князев пришёл в суд за час, переоделся в мантию, сел за стол и ещё раз перечитал материалы дела. Он знал их почти наизусть, но ему нужно было чем-то занять руки. Секретарь принесла чай — он выпил его, не чувствуя вкуса. В

коридоре уже гудели голоса: журналисты, родители, адвокаты, зеваки. Дело вызвало резонанс — ещё бы, малолетний убийца, да ещё такой циничный. Князев знал, что сегодня он будет выносить приговор под прицелом камер, под взглядами общественности, под комментариями в интернете, где его уже называли и извергом, и героем, и кто похуже. Ему было всё равно. Вернее, ему казалось, что всё равно. На самом деле ему не было всё равно никогда, ни одного дня за все годы работы, и именно это его убивало.

В десять ноль-ноль его провели в зал. Он сел в кресло, поправил микрофон, обвёл взглядом собравшихся. Родители — на скамье для потерпевших, хотя потерпевшая — их дочь, и они сами — потерпевшие, и подсудимый — их сын, и всё это сливалось в один невозможный, невыносимый клубок боли. Адвокат — уже не назначенный, а нанятый, дорогой, в хорошем костюме, с уверенным лицом человека, который привык выигрывать дела. Прокурор — молодая женщина с усталыми глазами, которая видела таких мальчиков десятками и давно перестала удивляться. Журналисты — в задних рядах, с блокнотами и диктофонами. И сам мальчик — в клетке, в серой толстовке, с взъерошенными волосами и лицом, которое не выражало ничего. Вообще ничего. Ни страха, ни злости, ни сожаления. Пустое лицо. Лицо человека, который уже не здесь. Или никогда здесь и не был.

Князев посмотрел на него и почувствовал, как внутри что-то сжимается. Не жалость. Нет, не жалость. Скорее — узнавание. Будто он смотрел в зеркало и видел там не себя сегодняшнего, а себя возможного. Себя, который перестал чувствовать. Себя, который смотрит на мир с холодным любопытством натуралиста. Себя, для которого чужая смерть — просто явление, не более того.

Он отвёл взгляд и начал заседание. Голос его звучал ровно, почти механически. Он задавал вопросы — мальчику, родителям, экспертам. Слушал ответы. Всё шло по протоколу, всё было правильно, всё было так, как должно быть. Но внутри у него всё кричало. Внутри у него был другой процесс — незримый, тайный, в котором он судил самого себя. И приговор по этому делу ещё не был вынесен.

## Приговор

Заседание длилось три дня. На первый день допрашивали свидетелей. Соседи, учителя, тренер из спортивной секции, куда мальчик ходил два месяца и бросил, потому что ему стало скучно. Соседка снизу — старуха лет семидесяти, с палочкой и слуховым аппаратом, который она постоянно поправляла дрожащими пальцами. Она рассказывала, как слышала крики. «Я думала, дети играют, — говорила она, и голос её дребезжал как надтреснутый колокольчик. — Дети всегда кричат, когда играют. Откуда мне было знать». Она смотрела на Князева и ждала, что он её оправдает. Что скажет: вы не виноваты, вы не могли знать. Он ничего не сказал. Он записывал показания в блокнот и думал о том, что люди всегда слышат крики. И всегда думают, что это игра.

Учительница — молодая, сразу после института, с испуганными глазами и красными пятнами на шее, которые появлялись у неё каждый раз, когда она начинала говорить. Она рассказывала, что мальчик был тихим. «Он никогда не дрался, не кричал, не бегал на переменах. Он сидел в углу и рисовал. Я думала, он просто замкнутый. Интроверт. Я думала, это нормально». Она заплакала, и Князев объявил перерыв.

На второй день допрашивали экспертов. Психиатры, психологи, криминалисты. Они говорили на своём языке — сухом, точном, лишённом эмоций. «Испытуемый демонстрирует признаки эмоциональной уплощённости. Аффективная сфера характеризуется снижением эмпатических реакций вплоть до полного их отсутствия. При этом интеллект сохранен, уровень IQ — сто двенадцать, что выше среднего. Испытуемый полностью осознавал характер своих действий и мог руководить ими». Князев слушал и переводил этот язык на человеческий: мальчик не сумасшедший. Мальчик умный. Мальчик всё понимал. Мальчик просто ничего не чувствовал.

Потом был допрос самого мальчика. Его вывели из клетки и посадили за отдельный стол, рядом с адвокатом. Он сидел прямо, руки положил перед собой, и Князев заметил, что ногти у него обкусаны до мяса — единственная деталь, которая выдавала хоть какое-то напряжение. В остальном он был спокоен. Слишком спокоен для четырнадцатилетнего, которого судят за убийство.

— Стрельцов Алексей Викторович, — сказал Князев, и мальчик поднял на него глаза. — Вы понимаете, в чём вас обвиняют?

— Да.

— Вам понятно обвинение?

— Да.

— Расскажите суду, что произошло двадцать первого сентября этого года.

Мальчик помолчал. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как на заднем ряду журналист перелистывает страницу блокнота.

— Я пришёл из школы, — начал он ровным, безэмоциональным голосом. — Катя была дома. Мама была на работе. Папа был на работе. Я сделал уроки. Потом мы смотрели мультики. Потом я сказал Кате, что мы будем играть в игру. Она спросила, в какую. Я сказал — в ванную. Она пошла со мной.

— Что было дальше?

— Я набрал воду. Она села в ванну. Я держал её голову под водой. Она вырывалась. Потом она вырвалась и побежала в комнату. Я догнал её. Там была лампа. Я взял провод и задушил её.

Он говорил это так, будто пересказывал сюжет фильма. Скучного фильма, который он посмотрел вчера вечером и уже начал забывать. Князев смотрел на него и чувствовал, как холод поднимается откуда-то из живота, растекается по груди, сковывает горло. Он видел эту

картину — мальчик гонится за девочкой по коридору, девочка поскользывается на мокром полу, падает, пытается ползти, а брат уже сматывает провод с лампы. Видел, как он набрасывает этот провод ей на шею и тянет. Видел, как её ноги бьются об пол, как пальцы скребут по линолеуму, оставляя белые полосы. Видел, как она затихает.

— Вы понимали, что она умрёт? — спросил Князев.

— Да.

— Вы хотели её смерти?

Мальчик задумался. Не над ответом — над формулировкой. Будто подбирал слова поточнее, как на уроке русского языка.

— Я хотел посмотреть, как это будет. Смерть.

— Вы раскаиваетесь?

— Нет. Мне не жаль.

В зале кто-то ахнул. Кажется, журналистка. Или мать — она сидела, закрыв лицо руками, и плечи её тряслись. Отец смотрел прямо перед собой, в одну точку на стене, и лицо его было серым, как бетон. Князев перевёл взгляд на мальчика. Тот смотрел на него всё тем же ровным, спокойным взглядом, и в этом взгляде не было ни вызова, ни страха, ни надежды. Ничего.

Адвокат попытался смягчить ситуацию. Он задавал вопросы про детство, про отношения с родителями, про то, не обижал ли кто мальчика. Мальчик отвечал коротко и равнодушно: нет, не обижал. Да, родители любили. Да, сестра его раздражала иногда, но не сильно. Нет, он не злился на неё. Просто было любопытно. Просто хотелось узнать. Просто так.

Князев объявил перерыв до следующего дня. Когда он выходил из зала, журналисты обступили его, тыкали микрофонами, выкрикивали вопросы. Он прошёл сквозь них, не отвечая, глядя прямо перед собой, и скрылся в своём кабинете. Там он сел за стол, достал из ящика бутылку — маленькую, плоскую, которую держал для таких случаев, — и сделал глоток прямо из горла. Водка обожгла горло и потекла вниз горячей струёй. Он сделал ещё глоток. И ещё.

Вечером он сидел в пустой квартире и смотрел новости. По телевизору показывали репортаж из зала суда. Его лицо на экране — серое, измождённое. Лицо мальчика — спокойное, равнодушное. Лицо матери — залитое слезами. Журналист что-то говорил про «зверя в человеческом обличье» и «неадекватность системы правосудия по делам несовершеннолетних». Князев выключил звук и просто смотрел на картинку. На экране мальчик моргал. Раз в несколько секунд. Медленно. Спокойно. Как ящерица.

Потом пошли другие новости. Пожар где-то в области. Курс доллара. Спорт. Князев не слушал. Он думал о том, что завтра — последний день заседания. Завтра он должен будет вынести приговор. И он уже знал, каким он будет. Знал с того самого момента, как прочитал протокол допроса. Знал, когда увидел мальчика. Знал, когда услышал его голос. Десять лет. Максимальный срок для несовершеннолетнего по этой статье. Воспитательная колония. А потом — либо он выйдет через десять лет, либо не выйдет вообще. В колониях такие долго не живут — тихие, странные, не умеющие дать сдачи. Их ломают. Их убивают. И Князев знал это. Знал и всё равно собирался вынести приговор.

Он налил себе ещё. Водка почти кончилась. Он посмотрел на бутылку, подумал, не сходить ли в магазин, и решил не ходить. Завтра важный день. Завтра нужно быть трезвым. Или хотя бы не совсем пьяным.

На третий день — прения сторон. Прокурор говорила долго и обстоятельно, перечисляя все улики, все показания, все выводы экспертиз. Она требовала десять лет. Адвокат говорил ещё дольше — про детство, про возраст, про то, что мальчик сам нуждается в помощи, а не в наказании. Что колония его не исправит, а только сделает хуже. Что есть специальные центры, психиатрические клиники, программы реабилитации. Он просил принудительное лечение. Он почти умолял.

Князев слушал и понимал, что адвокат, возможно, прав. Возможно, мальчика действительно нужно не наказывать, а лечить. Возможно, колония — не выход. Но он также понимал другое: лечение не поможет. Нельзя вылечить отсутствие души. Нельзя научить человека чувствовать, если он родился без этой способности. И если мальчика отправят в клинику, через несколько лет он выйдет. И снова убьёт. Не потому что захочет — потому что ему снова станет интересно. И тогда на его счету будет уже две смерти. Или три. Или больше.

Последнее слово подсудимого. Мальчик встал, обвёл зал равнодушным взглядом и сказал:

— Я уже всё сказал. Мне нечего добавить.

И сел. Коротко. Сухо. Без эмоций.

Князев удалился в совещательную комнату. Там было тихо и пусто — стол, стул, графин с водой, портрет президента на стене. Он сел за стол и долго сидел, глядя в окно. Там, за окном, шёл снег — первый снег в этом году, мелкий, мокрый, почти сразу таявший на асфальте. Он смотрел на снег и думал о том, что девочка никогда не увидит снега. Никогда не поймает снежинку на ладонь. Никогда не слепит снеговика. Никогда не вырастет. Ей было шесть лет, и теперь ей всегда будет шесть.

Он думал о мальчике. О его пустых глазах. О его обкусанных ногтях. О его голосе — ровном, как линия на кардиограмме мертвеца. Он пытался найти в себе жалость к нему — и не находил. Пытался найти злость — и не находил. Была только усталость. Бесконечная, всепоглощающая усталость. И понимание того, что любой выбор будет неправильным. Отпустить — значит предать девочку. Посадить — значит, возможно, убить мальчика. Третьего варианта не было.

Он достал телефон, нашёл номер Гольдберга. Подумал — и убрал телефон обратно. Что тот ему скажет? Что эмпатия — это проклятие? Что он сам виноват в том, что не может спать? Что таблетки — выход? Он знал всё это. Знал и не хотел слышать снова.

Через час его вызвали в зал. Он вошёл, и все встали. Он сел, разложил перед собой бумаги и начал читать приговор. Голос его звучал глухо, но твёрдо. Он перечислял статьи, доказательства, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Он говорил, что суд учёл возраст подсудимого, условия его жизни, характеристики с места учёбы. Он говорил, что суд признал подсудимого виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью. И наконец — наказание: десять лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Когда он закончил, в зале повисла тишина. Потом мать закричала — высоко, пронзительно, как кричат раненые животные. Отец сидел неподвижно, только желваки ходили на скулах. Мальчик не шелохнулся. Он посмотрел на Князева всё тем же ровным взглядом, и на секунду Князеву показалось, что в этом взгляде что-то мелькнуло. Не обида. Не страх. Скорее — удовлетворение. Будто мальчик получил именно то, чего ожидал. Будто он с самого начала знал, что так будет, и теперь подтвердил свою гипотезу.

Приставы увели мальчика. Зал постепенно опустел. Князев ещё долго сидел на своём месте, глядя в одну точку, и не мог заставить себя встать. Секретарь что-то говорила ему, но он не слышал. Он смотрел на пустую клетку и думал: вот и всё. Десять лет. Мальчику сейчас четырнадцать. Когда он выйдет, ему будет двадцать четыре. Если выйдет.

Домой он шёл пешком, через мост. Снег усилился, теперь он падал крупными хлопьями и ложился на плечи, на волосы, на ресницы. Князев остановился на середине моста и посмотрел вниз. Там, под мостом, текла чёрная вода, и снежинки исчезали в ней без следа. Он стоял и думал о том, что сделал сегодня. Что посадил ребёнка в тюрьму. Что этот ребёнок, возможно, там умрёт. Что он, Князев, будет нести за это ответственность. Что он уже несёт её — тяжёлую, как мешок с камнями, которую нельзя снять, нельзя переложить на чужие плечи.

Он думал о том, что Гольдберг был прав. Эмпатия — это проклятие. Потому что если бы он не чувствовал боли той девочки, он мог бы отнестись к мальчику иначе. Мог бы увидеть в

нём больного ребёнка, а не чудовище. Мог бы отправить его на лечение. Мог бы дать ему шанс. Но он чувствовал боль девочки — так остро, так яростно, будто это его самого держали под водой, будто это его шею сдавливал электрический провод. И эта боль требовала возмездия. Требовала наказания. Требовала, чтобы кто-то заплатил за сломанную жизнь. И он заставил заплатить. Сознательно. Хладнокровно. Зная, что делает.

Он оторвал взгляд от воды и пошёл дальше. Дома его ждала пустота. Пустая квартира. Пустая бутылка. Пустая постель. Он включил свет в прихожей, снял пальто, повесил его на вешалку. Прошёл на кухню, открыл холодильник — там было пусто, только засохший сыр и банка огурцов, которую закатывала ещё жена. Он закрыл холодильник и сел за стол. Достал телефон. Набрал жене.

— Я вынес приговор, — сказал он, когда она взяла трубку.

— Я слышала. В новостях передавали.

— Ты считаешь, я правильно сделал?

Она молчала долго. Так долго, что он подумал — разъединилось. Но потом она вздохнула — всё тот же тяжёлый, усталый вздох.

— Я не знаю, Андрей. Я больше ничего не знаю. Я знаю только, что ты не спишь ночами и пьёшь каждый день. Что ты не видишь своих детей. Что ты скоро умрёшь, если не остановишься. И я не хочу, чтобы дети остались без отца. Даже такого отца, как ты.

— Я не могу остановиться, — сказал он. — Я пробовал.

— Тогда прими чёртовы таблетки, — сказала она резко, почти зло. — Прими их и стань нормальным. Стань живым. Перестань чувствовать всё это. Ради нас. Ради детей.

— Это сделает меня нечеловеком.

— А то, что ты делаешь сейчас — это по-человечески? Пить в одиночестве, забыть о семье, медленно убивать себя? Это человечно?

Он не ответил. Она повесила трубку.

Он долго сидел в темноте, глядя в стену, где в свете уличного фонаря дрожала тень от голых веток. Потом встал, подошёл к шкафу, где на верхней полке лежала визитка Гольдберга. Взял её в руки. Посмотрел на номер телефона. Положил обратно.

Потом снова взял.

И снова положил.

Он просидел так до утра, не заснув ни на минуту. А утром пошёл на работу, и на столе его уже ждала новая папка. Новое дело. Новый ребёнок. Новый круг ада, по которому он будет ходить, пока не сойдёт с ума окончательно. Или пока не примет чёртовы таблетки и не перестанет быть собой.

В тот день он рассматривал дело о лишении родительских прав. Отец избивал сына систематически, с переломами, с сотрясениями. Мальчику было пять. Князев читал протоколы, и перед глазами у него стояло лицо Стрельцова. Спокойное, равнодушное лицо мальчика, который убил сестру. Он думал: а что, если этот пятилетний мальчик вырастет таким же? Что, если побои, которые он терпит сейчас, убьют в нём способность чувствовать? Что, если через десять лет он тоже возьмёт провод от лампы и накинет его кому-то на шею?

Он не знал ответа. Он знал только, что должен что-то сделать. Что-то, что разорвёт этот порочный круг. Но что?

Он лишил отца родительских прав. Мальчика отправили в детский дом. Ещё одна сломанная судьба, ещё одна галочка в отчёте, ещё одна ночь без сна. Вечером он снова пил. Снова сидел в пустой кухне и смотрел в стену. И в какой-то момент, уже под утро, когда за окном начали чирикать первые воробьи, он взял телефон и набрал номер Гольдберга.

— Я согласен, — сказал он, когда трубку сняли. — Выпишите рецепт.

## Пузырёк

Рецепт лежал на столе три дня.

Князев смотрел на него каждое утро, когда пил свой свинцовый чай, и каждый вечер, когда наливал первую рюмку. Бумажка была самая обыкновенная — белый прямоугольник с печатью и неразборчивым почерком Гольдберга. Название препарата он не мог прочитать, сколько ни всматривался. Может быть, это было сделано специально — чтобы пациент не гуглил, не читал форумы, не находил побочные эффекты и не пугался раньше времени. А может, у Гольдберга просто был плохой почерк, как у всех врачей. Князев не спрашивал.

В понедельник он пошёл на работу, и рецепт остался дома. Во вторник — тоже. В среду он положил его в карман пиджака, но аптека на углу Садовой и переулка была закрыта — то ли учёт, то ли санитарный день, то ли просто судьба давала ему последнюю отсрочку. Он воспринял это как знак и не пошёл в другую аптеку. Вернулся домой, снова положил рецепт на стол, и бумажка пролежала там до пятницы.

Пятница была тяжёлой. В суд привезли мальчика восьми лет — родители продали его в сексуальное рабство за долги. Не где-то в Азии, не в криминальных трущобах, а здесь, в Петербурге, в обычной панельной девятиэтажке на окраине. Отец проигрался в автоматы, мать пила, и вместе они придумали бизнес: сдавать сына в аренду за деньги. Мальчика нашли случайно — соседка вызвала полицию, когда из квартиры три дня подряд доносились крики. Когда дверь взломали, в квартире было трое мужчин. Мальчик лежал в ванной, связанный, с кляпом во рту. Ему было восемь лет, и он весил семнадцать килограммов.

Князев читал медицинское заключение и чувствовал, как что-то внутри него рвётся. Не в переносном смысле — в самом прямом, физическом. Будто какая-то жила, натянутая до предела, наконец лопнула, и теперь внутри всё заливало кровью. Он отложил папку, вышел в коридор, привалился к стене и стоял так минут пять, дыша глубоко и медленно, пытаясь унять дрожь в руках. Мимо проходили коллеги, смотрели на него — кто с сочувствием, кто с любопытством, кто с плохо скрытым раздражением. Он знал, что о нём говорят за спиной. «Князев опять расклеился». «Вечно он со своими переживаниями». «Работать мешает». Он их не винил. Они защищались от того же, от чего не мог защититься он. Просто у них это получалось лучше.

В пятницу вечером он сдался. Взял рецепт, оделся, вышел на улицу. Моросил дождь — мелкий, противный, какой-то особенно петербургский, проникающий под воротник и за шиворот. Князев поднял воротник пальто и пошёл в сторону Невского. Аптека нашлась на углу — круглая, как стеклянный аквариум, залитая холодным люминесцентным светом. Внутри было пусто, только женщина за кассой, крашеная блондинка с уставшим лицом, листала журнал.

Он протянул рецепт. Она взяла его, прищурилась, разбирая почерк, потом кивнула и ушла в подсобку. Вернулась через минуту с маленькой белой коробочкой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.